1. ПЯТЬ КЕДРОВ

Жили-были пять братьев. Пять братьев — пять пальцев. Пять братьев — пять кедров. У кедра стать крупная, мясистая: и иголки, и ветки, и шишки — налитые, с запасом и щедростью слаженные. Но если кедр хрупковат и уступает по гибкости и крепости ёлке и лиственни, то братовьёв не сломать, не угнуть. Не зря и фамилия у них старинная — Долговы, и идут они от Аввакумовского смоляного корня. Самый младший — Фёдор, но о нём напослед.

За Фёдором по старшинству Нефёд. Вроде как не-Фёдор, почему — потом поймёте. В Нефёде кедровая стать самая сильная, он хоть и не столь рослый, как Федя, но крепко и крупно нарублен. Густой замес. У волос, бороды двухвостой, усищ нависающих — ость толстая, обильная, масть тёмно-каштановая в рыжину. Глаза карие и веки особенно крупные, в карих точечках, — будто йод

со смолой навели и кедровой кистью покропили для верности. Для подтверждения плодородия его глинно-чернозёмной стати. Всё подходит для сравнения: и смола, и чернозём... Или конский ряд: как у коня, — грива темней тулова, борода темней волос. Постав глаз широкий, и сам Нефёд квадратный, коротконогий, кормастый. Но дело скорее в стати душевной: Нефёд полняком помешанный на корабельном деле. Живёт на боковой речке, и там у него верфишка своя. Заказывает листовое железо, сам режет, кроит, сам варит тридцатитонные баржонки, на которые ставит дизеля́, всё рассчитывает, водомёт ли, винт, редуктор. Устройство одно: головастая рубка спереди, а за ней грузовой отсек длиннющий до самой кормы. Забран жестяным в волну навесом, сдвижным, в виде «П» в разрезе. Навес ниже рубки, но выше палубы тоже участвует в силуэте. Нефёд делает на заказ, на продажу. В рубке малиновые диван и обшивка, японские сиденья и руль — хоть кожа. И мотор любой. Как карман позволит. Железо берёт с завода. Раньше староверы везли почему-то железо гофрированное, как шифер, видимо, какой-то канал подешевле был. И шли баржонки с грубо сваренным шиферным носом, который угловато стыковался с шиферными же бортами, и корпус был в ломаную линию. Теперь металл путный, гладкий, загнут породисто в скулах и отделка под самый рояль-салон.

У Нефёда баржа, и он на ней возит по Енисею горючее, а зимой ещё и на бензовозе по зимнику работает. Дорожная душа.

Следующий брат Гурьян — тот промысловик. Ни о чём не может говорить — только о тайге и о промысле: «Это моё. Мне как осень — уже в тайгу на-а. Оно в крови». *Завод* у него доскональнейший, и кулёмник (а был иплашник), и капканы на земле, на жерди. И обязательно очепы — жердь наподобие журавля, которая вздёргивает капкан с добычей, чтоб росомаха с лисой не схрямкали. Но если у капкана на полу очеп не редкость, то очепа́ на жердушках, прибитых к дереву, — только у Гурьяна. Спросите, как на такой высоте очепа́ ладил? Не поверите — таскал по путикам лесенку. В тайгу задолго до снега попадал.

На вид Гурьян — с того же лекала, что и Нефёд, но поровней, посветлей, и настой смолы пожиже, попривычней. Поначалу не знающие близко путают братовей. Но даже, когда разберёшься, странно. Бывает, увидит человек впервой Гурьяна, а потом где-нибудь встретит и вздрогнет: идёт вроде Гурьян, да только какой-то густой, набрякший, дико расширившийся, потемневший, и недоумение: то ли сам плохо запомнил — невнимательный, то ли с Гурьяном что-то стряслось — пчёлы покусали или отъелся и в дёгте измазался. Дивишься, вроде уже видел черты, а тут они выперли, сгустились, укрупнились. Будто два живописца один образ писали

— каждый по-своему, один поскупился, другой пощедрился. «Здорово, Гурьян!» Молчит. Оказывается — Нефёд.

Промышляет Гурьян с сыновьями. Те тоже, Гурьян да не Гурьян, пачка копий. Вроде отец, только поуже, и лица посвежей-порозовей, и бородки помшистей. А вообще по портрету Гурьян самый канонический, знакомый: прямое скуластое лицо, брови белые, борода русая, ость витая, крепкая, верхний слой светлей. Глаза серые.

Следующий брат — Иван. Тому к шестидесяти, черты Долговские, но только подсушенный, подсутуленный, зубы с проредью, борода поклочковатей, серо-русая с сединкой. Иван — крестьянин. Живёт по реке к югу, где заливные луга. Взял землю, держит скота — коров, бычков, ставит сена горы и поставляет дельцам и частникам молоко, сметану, творог, мясо. Пчёл держит. В движениях порывистый по-мальчишески. Иссушенный покосным солнцем, прокопчённый дымокурами, измождённый страдой, переживаниями... (То пресс-подборщик верёвку рвёт, то завидущее бичьё нетель отравили, то ещё что-то...). Но влюблённый в землю, как и положено русскому крестьянину. Он хоть и как пол-Нефёда повдоль, а зато сыновей у него семеро. Все помощники. Осенью на луговине стынь, свинцовое небо с запада, ветер с каплями... И вдруг солнышко боковое... И тюки, ярко освещённые, — как рулеты лежат. И Иван в белой почти энцефалитке щурится от солнца и кричит сыну, который на тракторе на гребь едет: «На кули-и-гу езжай! На кулигу! Там спе́рва вороши!»

Дальше брат Григорий идёт. Тому к семидесяти, белый, неспешный, и лет восемь живёт в старообрядческом монастыре за Дубчесом. Как зачарованно говорят про него в деревнях не сильно сведущие в вере: «На чистую вышел». Человек уважаемый, в монастыре «наставничат».

Для усвоения материала можно запомнить так: по светлению масти и сходу кряжеватости: Нефёд-корабельщик, Гурьян-охотник, Иван-крестьянин, Григорий-наставник. С Григория, правда, снова на крепость идёт.

Четырёх братьев назвал, а пятого не только не забыл, а на самый рассказ и оставил. Фёдор. Самый молодой, самый статный. Широкое розовое лицо, также фамильная бородища, только совсем уже лопатой широченной двукрылой, усы старинно-армейские, в сторону торчат остроконечно, как проклеенные. Глаза синие. Бровь тёмная.

По виду должен вобрать самое могучее и лучшее Долговское. А на самом деле настолько другой, что семью смело можно поделить на две кости: Братовья и Фёдор. Помимо верности вере, братовьёв объединяет страсть к любимому делу. А Фёдору не́ дал Бог кровного ремесла, либо давал, да тот не взял. И вроде работящий мужик, но ничего ему не интересно,

кроме денег: будет соболь в цене — на тайгу все силы бросит, рыба подлетит — в рыбалку уйдёт, скажут, извоз в цене — груза возить будет, а сварочные работы — в сварщики подастся. И главное, какое ни будь дело — а видно разницу меж Фёдором и тем, для кого дело — единственное. Вроде и впрягается Фёдор — а всё не с головой. Не безоглядно.

Соберутся братовья, о работе говорят, кто какой корабль сварил, зимовьё срубил, грабли освоил. А у Фёдора оно: «А сколь стоит? Сколь заработал? Сколь платят?» Жёны уже смеются. У автора сиих строк даже раз спросил: «По сколь нынче рассказы отходят?» И ещё удивлённо и строго покосился, по-беркутячьи — брови тёмные... Мол, мало что-то, врёшь поди: «Да ну-у-у... Не поверю... Прибедняшься». И с таким видом, что сам бы занялся, если чо. А Иванова жена, язва: «Слышь, Федя. В городу нынче комара сушёного принимают: по пять тыш за ки́ло. Вон Ульян Угрени́нов на машину насдавал, «крузера».

Нахмурится, наклонит голову, глянет из-под брови орлино и допросит: как звать «приёмшыка», какой номер телефона, на чём ездит. Потом и сам засмеётся, но так, в пол-улыбки, и о своём нахмурится. Ехали с ним на автобусе в город — все заправки изглядел: здесь девяносто второй столько-то стоит, здесь меньше, солярка столько-то, там столько-то.

Братовья и бьются за заработок, но не так как-то. К примеру, понятно, что ловушками охват больше, и собаки от насторожки отвлекают, но Гурьян скажет: «Да я себе не представляю, как вот с собачкой не побегать по осени!»

Федя норовил ввязаться в дело, пусть и скользковатое, но сулящее барыш. Узнал, что на одной речке лежит ёмкость пятнадцатикубовая от солярки на берегу — наследство от экспедиции. Нефёду железо нужно, Федя и говорит: «Железо тебе устрою недорого, ты подъедь на своей «лайбе» на такую-то речку к такому-то месту, загрузим тебе железа».

— Отколь? Как?

— Да так — ёмкость.

— Дак это ж Степана Густомесова участок, он поди на неё виды имет.

— Да не, я договорился с ним.

Помощников нанял парней. Взяли болгарки, генератор, поехали, распилили ёмкость, загрузили на Нефёда. А потом столько позора было! И Степан, и все мужики с той речки видеть не хотели никого из Долговских, «росомах этих». Густомесовы и Большаковы с тех пор, завидя любую похожую посудину, выскакивали на берег и орали лихоматом, кажа кулаки. Степан эту ёмкость собирался утащить вездеходом и оборудовать под избу, утеплив снутри и врезав дверь на болтах от медведя.

История с ёмкостью не остудила Фёдора. По складу он был рыскающий, как соболь, напористо заводил знакомства и к людям относился с точки поживы. Тянулся к успевающим, состоятельным,

аккуратно записывал телефоны. Первым из братьев карманный телефон завёл. Всё совал в карман энцефалитки, нагнётся к лодке за верёвкой — и тот бульк из кармана в воду. «Два штуки утопил», пока не научился с «имя́ обращаться». Звонил. Поддерживал знакомства, снабжал рыбой, не спрашивая. Как по разнарядке.

Эффектный. Приезжие, особенно журналисты или москвичи, рыщущие смысла, на него клевали, и он в отличие от остальных собратьев-старообрядцев не сторонился, а в гости приглашал и проявлял «угостительность». Водка не разрешалась, поэтому угощал брагой и резчайшим домашним пивом, подымая кружку с богатырским: «Держите!» Не «давайте!» непонятное, а именно «держите!» Это «держите» особо нравилось заезжим, они его потом сами повторяли, оно было как слоёное: и кружку, и удар держи — не хмелей. Журналистка «с Москвы»: «А вы слыхали, что новозыбковцы ведут переговоры с часовенными?» Фёдор: «Не слыхали. Держите! Как бражка?» «Хороша!» «Вот и отец наш говорил: хороша бражка, да мала чашка!» Конечно, и фотографировался с гостями. И даже одна его фотография висела в городе на щите на Металлургов с надписью «Сибирь — территория силы». Орлино глядя вдаль, Фёдор ехал на моторе на фоне скал, и ветер развевал, забрасывал набок огромную его бороду. Авторы плаката повернули фотографию наизнанку для пущей композиции с округой, и выходило, что Фёдор левша и «под ево» специальный мотор собрали: рукоять газа торчала не с той стороны. Наподобие как излаживают под левшу гитару или скрипку.

Федя, в отличие от братовьёв, к вере предков относился расслабленно, за что и имел серьёзные с ними беседы. Дошло, что когда те собирались, за свой стол не садили, а ставили гостевой буквой «Т» к ихнему. Там Федя и сидел вместе с гостями. Как мирской. А упрекали за излишнюю рыскливость: «Из-за таких, как ты, нас «мохнорылыми» зовут, — возмущённо выговаривал промысловый Гурьян, — ты маленко за ум-то берись. А то по тебе и о нас судят».

Хотя при городских Федя, наоборот, форсил, и подыгрывал, и про «нашу веру старинную» вещал именно то, что хотели слышать. И сам в свои слова верил, и, бывало, мог расчувствоваться, особенно, если много «держать» доводилось.

Но больше было будней.

Слышал Федя о растаскивании буровых «апосля пучи» в конце века. Сам однажды осенью в тайге заворожённо глядел, как пёр «ми-двадцать шестой» огромную запчасть от буровой, двигатель вроде, и как неделю гремели с востока, ещё что-то тащили воздухом, штанги какие-то, и как накатывало возмущение, и как обсуждал с мужиками по рации. Потом разговор надолго затих, и вдруг кто-то из дельцов заговорил

про брошенные в тайге буровые, мол, заплачу за разведку огромно, и Фёдор взялся разузнать. Нашёл экспедишника, бурового мастера Трошу, обурившего пол-Эвенкии и знавшего все точки.

Буровые находились далеко на северо-востоке. Поехали весной по большой воде на здоровенной резинке с водомётом, взяв в долю и её хозяина, поселкового коммерсанта. Пришлось припрячь Нефёда — чтобы на барже завёз горючку и их самих по большому притоку до устья речушки, по которой уже карабкались на резинке с водомётом. По берегам чахлый листвячок. Река горная, течёт меж тундряков и сопок, и то совсем узко и ровно, то вдруг голый скальный бугор подденет русло округлым сливищем, так что забрались с третьего раза, а двоим пришлось вылезти и пройти по берегу. Ехали долго, останавливались на каждом «вроде том» с Тронькиных слов месте и поднимались на берег, где тянулась голая чавкающая тундра с чахлыми листвяшками. Всё нежно-зелёное. Жёлто-светящееся. За тундрой вставали голые квадратные горы, лилово-синие с плешинами снега.

Находили остатки балков. Полусгнивший барак, истончившиеся пепельные доски в лишайнике, изъеденный чуть не в порошок алюминиевый умывальник. Всё нещадно пережёванное тайгой... Что-то трупное было в этих тонущих в сырости останках, будто они не рассыпались постепенно, а разово были захвачены каким-то слепящим ударом.

Зелёные развалившиеся батареи, ящик с огромным количеством Ш-образных металлических пластин, каких-то конденсаторов будто, вроде бы и ценных на вид, а бесполезных. Сгнившие ящики с кернами. Куча снега, студёно и роскошно фонящая стужей на фоне яркого и тёплого солнца. Бродили, им моримые, в привычной уже полусонности средь останков того, что когда-то было сегодняшним, бодро-трудовым и важным, а теперь неумолимой сырью, как кислотой съедалось и поглощалось тайгой. Дерево, и железо, и даже пластик, всё уходило, кренясь, рушась и растворяясь.

Пнув ржавую бочку на утоптанной моховой площадке, навек пропитанной солярой, Троня говорил: «Не, эт не то — это от шнадцатой остатки. Надо выше (или ниже) искать».

Возвращались на реку, поднимались с Нефёдом до следующего притока, какой-нибудь Эмбенчи́или Де́лингды, и начинали всё сначала. Понимали, что хотя буровые и ничьи вроде, но никто не лезет с такими затеями, и чуяли скользкость. И будто для скраса каждый взял водки, и даже Фёдор, хотя ему как старообрядцу по закону разрешалась только брага и домашнее пиво. И вот ленки здоровенные на пенистом устье Эмбенчей, жгучая водка, сплющенный накось кирпич хлеба, который Пронька отрезал на себя, прижав к груди, толсто и неровно. Луковица, малосольный ленок. Студёная вода из кружки.

Белая ночь, такая холодная, что аж колотун берёт. Красные баллоны лодки в густой испарине, дрожь в теле. Густейший туман в повороте. Нежная хвоя лиственниц. И снова подъём по речке, и вот уже паркое солнце свозь бус тумана, и усталость, и «поспать бы», но времени нет. И снова по стопке, и вроде чуть пододурели, и снова восторженные возгласы. Эх, какая речка! Какая красота! И снова брождения по чавкающим тундрякам, по пружинистому ернику. И снова мчание по порогам. И Тронькино: «Давай здесь!»

В росистой ярко-зелёной утренней стихии туман сеется, птички поют родниково и первозданно в кустах. Крупный первый комар пропищал. Высокий крутой берег и в густых тальниках полузаросшая тропинка, только ноги чуют. Литры росы на штанах, и подъём по тропинке, которая уже и не тропинка, а ржавый ручеёк, проложивший руслице. И вот плоская вершина яра — разлётная даль с тундряком и синими горами, если смотреть за реку, на восток. А если от речки — огромная, страшная, ржавая буровая, забранная понизу выгнутыми пепельными досками. И будто одушевлённая и в грозной обиде за свою ржавость. И словно инопланетная.

И запчасти — врастающие в напитанную влагой землю, в мерзлоту, на которой в ямках стоит вода, и угол балка, и фуфайка растерзанная со светлым нутром, бутылка, сапог. Разбросанные, углами уходящие в грунт двушкивники, какие-то фланцы, кожуха́, ржавые, с остатками краски — какой-то тёмно-розовой. Огромные, как раковины, половинки блоков со шпильками и круговыми отверстиями. Двигатель, ржавый до горящей красноты.

Коммерсант, хозяин лодки, давно уже никуда не поднимался, рыбачил себе вдоль берега. Писали список, фотографировали, припили остатки водки. Шарились потные. Считали роторы, насосы. Троня всё бубнил про двушкивники — лебёдки. Говорил:

— Пиши! Насос эскабэ-четыре — две штуки. Колодки. Кернрватели. Огловник штанг. Коронки. Баба забивная. Должна быть. Её нет. Нет, пиши, бабы. Промывочный насос эмбэвэ-сто двадцать. Так, шпиндель где? Пиши: нет шпинделя. Ну чо, всё? Наливай.

Наслушался буровых словечек и Федя:

— Держи, Троха. За ход шпинделя.

— Давай! А я смотрю, ты хоть и старовер, а водку глыкаешь. Смотри, твои узнают — быстро тебя на шпиндель возьмут, хе-хе. Держи...

В минуты передыха за бутылкой Тронька целыми главами рассказывал экспедиционную жизнь, анекдоты про разных чудаков, а всё больше страсти вокруг поварихи, у которой Троня был в особом почёте (следовали подробности). И как на него набросился пьяный помбура и пёр: не остановить. Опешивший Троня «размесил» ему губу, но тот продолжал

переть, а Троня, когда «хватанул крови», озверел и «убуцкал» бузотёра. Об этом «хватанул крови» он сказал с особой силой, как о проявлении какого-то закона, почти с восхищением, как зачарованно говорят о чём-то таинственном, неведомом, природном. Выходило, что и человечье, и звериное поровну царили в мире, и что даже красота была в таком пейзаже, и обе стороны завораживали. Коммерсант одобрительно усмехался. Троня рассказал, как помбур в итоге женился на поварихе и дошли слухи, что лупит её, а коммерсант подтвердил, что запросто такое, и что «всё теперь», он это дело «раскусил», и все засмеялись, потому что он сказал, как про медведя, который повадился драть скота и его теперь не отвадишь.

У Фёдора родовая память о благочестии сидела внутри, не спрашивая разрешения, и при таких разговорах всё внутри противилось, но он подлыбливался и терпел. А куда деваться? Бывало, и брат Гурьян, живший в отдельной староверской деревне, приезжал к ним в посёлок и тоже сталкивался с мирским. Шёл договариваться насчёт трактора вывезти муку на берег. И вот у склада на санях-волокуше сидят трактористы и грузчики, молодые ребята. Грязища дождевая, дрызг вокруг. Все курящие, и полторашка пива идёт по кругу. А обложной привычный мат с такой силой стоит, будто сквернословие, парализовавшее Русь, стало обязательным и настойчивым условием жизни, и требовалось уже и от матерей, и от девушек, и от малышей. И строгий Гурьян тоже пробросил средней силы словечко, да так, что и не сгрубить совсем, но и обозначить, что, мол, тоже свой, не чистоплюй какой-нибудь.

Троня привычно бросал окурки. Вокруг стояла весна в самой первой, нежнейшей зелени листвяжных иголок, салатовых стрел чемерицы по серой полёгшей траве, учёсанной течением. Синих и белых первоцветов, вешающих под светлую полночь мохнатые подзакрытые свои бошки. Воды, с каждым днём всё более прозрачной и проседающей в каменные берега. И лежали средь моха и льда ржавые карданы, электромоторы и догнивающие фуфайки, и Троня был одной плоти с этим разором и, куря, сквернословил с особым смаком, словно ему доставляло особое удовольствие пытать Фёдора на староверскую твёрдость.

Нашли ещё две буровые и вернулись к заспанному Нефёду, который ворчал, что вода «падат» и что сталкивать «пароход» пришлось «два раз».

Фёдор отослал фотографии и списки знакомцу-дельцу, но то ли состояние «шпинделей» не устроило, то ли ещё что-то, но так ничем и не кончилась затея. Да и вся поездка оставила тяжкий осадок и началась неладно. Фёдор поехал, разругавшись с женой, Анфисой, которая просила не уезжать, пока не посадят картошку. На само́м

Енисее весна намного раньше, чем в хребте, и охотники обычно отправлялись в тайгу, вспахав огороды, и огороды эти держат и становятся камнем преткновения. Анфиса упирала, что «бурова эта — журавель в небе». А Фёдора возмутило то, что она поставила на одну доску огород с картошкой и миллионы, маячившие в случае удачи с буровыми. Он видел в этом «бабью» недалёкую сущность и кипел от раздражения. И вот он вернулся, ввалился в избу, обожжёный солнцем и невыспатый, и Анфиса, давно забыв обиду и соскучившись по кормильцу, бросилась собирать на стол. Фёдор сказал, что пойдёт на «пять минут» к знакомому охотнику, узнать, как дела. У того сидела компания: всё либо собирались куда-то, либо откуда-то вернулись. И началось заздравное «Держите», и... в общем, домой он вернулся под утро. А когда из предприятия ничего не вышло, Фёдор на Анфису ещё и озлился, и чуть не виноватою объявил.

Федя, хоть и удалялся от веры, но, как часто бывает у нехристиан, склад имел чуткий к мистике. К своим ощущениям прислушивался, любил рассказывать сны и относился к ним внимательно. И то ли добавился хмельной загул после неудачи с продажей буровой, тяжкое и беспричинное чувство вины, то ли дело и впрямь было неправедное — но стал во сне являться ржавый журавель, буровая, оживающая в грозной своей страхоте и скрежетно ломящаяся в погоню за ним, катящимся с сырой горы по ржавому в синий отлив ручейку.

Стала кошмарным видением, а он не мог понять, отчего, и, ругая дельца, жалел потраченных сил. Бывало, буровая догоняет, бьётся, как в неводе, сердце Фёдора, и от трепета и сон будто отпустит хватку, и Фёдор закричит в просвет: «Это же сон! Это не по правде!» И всплывая, освобождаясь, продолжает поражаться магии приснившегося: «Ну не может это всё быть «просто так», ведь что-то за этим же есть!» Больно подробно, убедительно, а главное, сильно всё построено. Понятно, кроме буровой, были и другие картины, которые Фёдор всю жизнь помнил. Ещё юному приснилась весной в тайге в избушке девушка с длинным лицом и светлыми волосами. Была она в изумрудно-зелёной майке, какую он никогда не видел. Сильнейшее впечатление, осязаемое, материальное, оно многократно превосходило по силе воздействия виденное наяву. Проснулся заворожённый. И всю жизнь вспоминал. Гурьян говорил, что это бесишко искушает.

Но сны Фёдора привлекали, он оказывался в них умнее и тоньше, чем в жизни. Являлись какие-то подробности чьей-то речи, меткие соображения в областях, которых он не касался, и даже фамилии приходили, которых не слыхивал. Будто расписывал роли и писал диалоги кто-то более сведущий, чем он сам. Однажды приснилась фамилия Ачимчиров. Тогда ещё

не убрали радио с длинных волн, и лесные мужики были при музыке и известьях. Так вот спустя месяц после сна он услышал по радио: «Руслан Ачимчиров одержал победу в тяжёлом весе»...

2. СЛАБОВАСТЕНЬКО

Фёдор и рад был заработать хоть на чём, но верным оставались лишь рыбалка и охота. Участок его лежал к востоку от брата Гурьяна, ещё дальше от посёлка, но если Гурьян заезжал чуть не в августе, то Фёдор тянул до последнего, сидел в деревне, рыбачил омуля, а потом пробирался в тайгу на снегоходе — дождавшись, когда «подбелит тундры». Снега много и не требовалось, и едва подсыпало — трогался по профилям, таща груз.

Брат Гурьян пешком пробегал участок, подлаживал ловушки, проверял дальние избы на предмет медвежьей диверсии, а потом с удовольствием осеновал на базе, бороздя на лодке по красавице-речке, добывая рыбу и птицу, и в зиму уходил довольным и подготовленным. И даже вот что отмачивал: до снега пройдёт капкашки и взведёт их, чтоб потом только приваду осталось «повешать». Избушки, особенно речные, у Гурьяна были сделаны с особой любовью, основательно, аккуратно, чтоб самому приятно. И вокруг чистота — ни бумажки, ни банки.

Гурьян же приезжал по снегу и уезжал, понятно, по снегу. По воде заезжал наскоро дров подпилить до комара и особо не прибирался. Летом вокруг всё так и валялось: банки, которые собаки растаскивали, соболиные тушки. Могла и крыша подтечь. Вся надёжа у таких, как Фёдор, на снег да холод: снег присыплет, проложит, холод скуёт и всё наладит, заштукатурит, как клей могучий. Мудро знать такую спасительную силу зимы — никаких тебе дождиков, только крепость и строй. И зачем навес перед избушкой доской внахлёст крыть? Жердей накидал, а снег щели присыпал, залатал — и после хоть завали, на полу ни снежинки. Остальные братья за что ни возьмутся — всё равно дотошно делают, а этот взвешивает затраты, на сорта делит. Что-то обязательно надо, а что-то так, малым дефектом можно пустить.

Этой осенью Фёдор заехал по обыкновению по первой пороше: главное было из деревни выбраться по шевякам — комьям и гребням грязи, в тепло размешанной тракторами и бетонно проколевшей на морозе. По тайге же одолеть требовалось первые километров шестьдесят — дальше шёл подъём в плоскогорье, на лбу которого садились снеговые за́ряди, летящие с юго-запада, и снега было — хоть боком катись.

Поначалу сезонишко неплохо пошёл. Фёдор приехал в первую избушку вусмерть уханьканным. Лесин нападало по его дороге, пропиленной в ширину снегохода. Брат-то Гурьян свою паданку

с осени пропилил. А Фёдор с грузом, с деревни — ещё не втянувшийся в таёжную лямку, упрел. То и дело слезал, бродил с пилой, раскидывал кряжики. А главное, снега-то немного, и прошлогодние пеньки торчат и сильно брыкаются в снегоходную гусеницу. Пружина натяжная мощная стоит, и снегоход переворачивается, выбрасывая седока. И крути его вагой, отцепляй сани, отвязывай вьюк на багажнике — а тот широкий, перевешивает.

В общем, приехал в первую избушку. Дверь открыта, как и оставлял, чтоб изба не прела. По́ воду сходил в бочажину, раздолбил — вода жёлтая, как заварка. Собака Пестря рядом, у входа лижется. Печка щёлкает, из поддувала отсвет рыжий дрожит. Чайник бурлит. Фёдор напился до семи потов и лежит на нарах. Вдруг слышит: кто-то «шебарчит» под нарами, а потом и заворчал, будто через равные промежутки времени сипло выдыхают — такая одышка пунктирная.

Соболь залез в избушку и даже по́жил в ней какое-то время, видать, мышей много в ней. А выбежать не отважился — собака за дверью. Фёдор добыл соболя, обрадовался, увидел знак. В тайге кругом знаки видятся.

Соболёк оказался не совсем выходной, *по́дпаль*, мездра на хвосте синяя. (Мездра — это подкожная плёнка, а в обиходе — шкурная кожа с изнанки. У выходного зверька мездра пергаментно белая). И по рации бубнёж: соболь вроде пошёл, но невыходной. И обсуждение: «Останется — не останется». Выходной — значит сменивший мех на зимний, ценный.

У Фёдора на участке соболь не остался. С собакой Федя поохотился, кое-сколько добыл, но негусто, теперь надежда на ловушки. В ловушки соболь не идёт, корма полно: шиповник, рябина обливная, мышь задавной. (Хоть в фактуру заноси: «Мышь задавной, среднеупитанный»). «Погоде-е-е, — умудрённо-угрожающе говорил Фёдор обычные в таких случаях слова, — снег оглубет, морозяки прижмут. Как миленький полезешь».

Но не лезет. А Фёдор и так не любитель таёжного затвора, когда сам с собой на беседе, а тут и вовсе захандрил. Представлял поселковую жизнь, в миг ставшую желанной. Но не столько к жене, к сыну прижаться, а просто — в обстановку, когда не один на один с собой.

Хотя действительно, обидно — ведь столько сил на насторожку. А он и капканов доставил. Как раз морозцы поджали, Фёдор жердушки в зимовье́ готовил — палку размером с полешко выстрогает, цепочку прикрутит, капкан. Даже гвоздь наживит. Пробьёт, чтоб показался. Потом в багажник снегохода — и по путику. Остановился у дерева. Затесал плоскость. Древесина мёрзлая. Затёска рыжая, со слоями, как на стерляжьей тушке грань, от которой пласт строганины отвалили. Только как

стекло твёрдая. Топор не цепляется, норовит скользом, со звоном пройти. Ещё и боковиной лезвия шлёпнуть досадно. Но затесал и аккуратно, точным ударом топорика прибил жердушку. Бывает, гвоздь загнётся, по витым окаменевшим слоям косо пойдёт. Сопя, выправит и снова забьёт.

А не ловится соболь, да и мало его. Обычно Федя не особо к молитве обращался, а тут зачастил, идёт по путику и перед каждым капканом «Отче наш». Приближается к капкану — шорк-шорк на камусных лыжах, — и сердце колотится: вот бы из-за залепленных снегом стволов появился висящий соболь с рыжим горлом, бурый с переливом по краю, такого заповедного цвета, что аж до нутра прострелит. Похожий на бутылку: лапа, за которую попал и на которой висит, — как горлышко. Меховая бутылка. Так вот «Отче наш» — и пусто. «Отче наш» и пусто. А бывает выворотень чёрный, горелый, вертикальным отростком корня обманет. Прошьёт неуправляемо, хоть и знаешь, что здесь нет капкана. И снова шорк-шорк. «Отче наш». Жердушка прибитая. На стёсанном конце стоит капкан прозрачненько, напросвет плоско. И привада висит. Чуть качается. Хоть и ветра нет. Зато как радостно, когда помолился, и тут же выплыл из-за заснеженных стволов висящий соболь! Выходит, радовался тайге, только когда ловилось. Тогда и даль озарялась — и контраст между голой омертвевшей тайгой без добычи и далью, кричащей от радости, был огромен. До ненависти.

У других: у кого слабо, у кого неплохо. Эфир напряжённый, аж звенит. Речь у всех до предела взвешена, годами отточена. Тех, у кого сносно, аж распирает, но сдерживаются, чтобы не слишком самодовольно выглядеть. А у кого плохо, особенно матёрые, стараются, не теряя престижу, сказать так, чтоб всё равно в свою пользу повернуть. Опыт, настой перелить в способность оценить картину. Или того лучше предсказать. Так, с прохладцей говорят, будто не о себе лично, а вообще: «Слабая нынче охота». Мол, лучше сам оценю и своей манерой, тоном гордости не уроню.

Для Фёдора сиденье на рации превращалось в муку. Изводясь, ждёт, кто что скажет, даже «Отче наш» читает, чтоб «Перевальный» крикнул «Скальному»: «Да вообще пусто!» или «Да хрен забил он на капканы! Подбежит, покрутится, ещё и кучу навалит, хе-хе. Не-е-е, мужики, с такой охотой я не знаю... С тем же успехом в деревне на диване лежал бы. Да там хоть баба под боком».

— Перевальный Стариковой Курье!

— На связи, Скальный!

— Ну чо там у тебя? Есть подвижки?

— Да чо-то вроде зашевелилось. Но. — Перевальный сыто причавкнул чем-то вкусным. — Не знаю, как дальше, конечно. Но чо-то есть. Чавк.

— Ну сколь снял?

Тот, помолчав, солидно:

— Ну с двух путиков семь штук. Чавк-чавк.

— Кудряво живёшь. Для этого года это даже... я тебе скажу. Я-то вообще со ста двадцати ловушек две штуки. Главное, обе самочки седьмой цвет.

— А где там Ерачимо́? Ерачимо! Чавк! Ты чо там, примёрз, что ли?

Отзываться неохота. Рассказывать нечего.

— Да на связи. На связи я, Перевальный, — постно-бесцветно отвечает Фёдор.

— Чо, как там у тебя на пушном фронте?

— Да глухо, восьмой́ день пошёл, я уж забыл, как соболя обдирать. — Федя отвечал тоном не то что обиженным, но каким говорят, когда несправедливость. Мол, не трогайте, не бередите. Не хочу. Но без жалкой ноты, а наоборот — в своей правоте. Смотрите, как чувствую, вижу наскрозь план этот подлый. Главное, не уронить достоинства, сохранить, перенести в область прозорливости и в ней утвердиться, взять своё, невозмутимое. Показать способность не удивляться, словно главный промысел — добыть эту жизненную жёсткую правду, упредить, слившись с ней, раньше, чем она заест, погубит. Хотя всё равно заедала, но хоть не на людях.

Пестря вдруг стал раздражать. Побежал тут по следу соболя, и спустя час раздался лай, да такой громкий, с заливом, что Фёдор побежал как мальчишка и обнаружил картину: склон увала, спускающийся к тундрочке, на открытом месте (отсюда и доносчивость лая) сидит под кривой наклонной кедрой Пестря и лает на глухаря. Называется «скололся» со следа на менее ценную добычу. Такая досада, что пнул с ненавистью кобеля.

— Да нет никово. Бесполезно. Глухаря, правда, добыл. Аж синий, старый...

Начал на всё грешить. Спрашивают, как птица. Отвечает: «Да есть птица, есть. Только худая». Спросят, как техника: «Да так-то тьфу-тьфу, только жрёт, как слон».

Пушнины нет — занятия нет. Вечер. Ни сна, ни дрёмы. Эфир только гудел, но вот все незаметно поутихли, перепрощались, сонно и успокоенно. Тишина, только фон идёт, тикает мерной капелью. Было наладится сон — но чуток не добрал слоя, одна мыслишка проскочила, и тут весь рой ожил, какой тут сон! А спать надо — невыспатым не работа. Сколь там до подъёма? Четыре часа, три с половиной, уже три... Катастрофически на убыль идёт время отдыха, и чем больше думаешь, как уснуть, тем громче бодрость, и нервы, как лесины, на ветру гудят. И книг, как назло, на базе мало. Божественного не брал с собой, и был всего один журнал «Охота и охотничье хозяйство». Он его раз двадцать прочитал, особенно литературные страницы, и уже

наизусть выучил, хоть и сказками отдавали многие заметки.

Так и лежал. Мысли разные приходили, и Фёдор, бывало, держась на грани сна, направлял, натравливал их на интересное, развлекательное, и они подхватывали, увлекали, и он худо-бедно засыпал. Какой охотник не представлял, как обращался в собаку, взявшую след?! И объединив в одном существе и знания, и собачьи нюх и способность нестись по тайге без устали, в минуты одолев версту, не оказывался у добычи?! Оставалось только выбраться из собачьей шкуры с оружием и добыть соболя.

«Мне бы, да с моими мозгами, — развивал по рации знаменитый балагур «Сопка 66» по кличке «Топоришше», — такой бы нюх и ноги, я бы пять планов бы делал!» И Федя, лёжа в тревожной полудрёме, представлял, как превратился бы в Пестрю и вовсю науськивал воображение, чтоб взяло след и увело в самую чащобу сна. Интересней всего, когда нить уже подхвачена кем-то таинственным, а он земным краем сознания ещё отдаёт отчёт в происходящем! Момент потери управления начинался сонной бредятинкой, голосами, будто кто-то переговаривался, но если слишком в упор это отметить, то всё срывалось, и Федя шёл на новый заход. Чем больше было таких погружений-всплываний, тем насыщенней казалось пребывание на нарах, и тем сильней была их сила, которая росла, казалось, чем хуже шла добыча.

Обращение в Пестрю не всегда сулило награду — раз соболиный след вывел на прогалину, где громоздилось страшное заснеженное сооружение. Это была мёртвая буровая. Примерно на половине вышки на перекладине сидел здоровенный тёмный соболина. Фёдор выстрелил в него из «тозовки» и в этот момент, стрясая снег, заскрежетала промёрзшая громадина и, постепенно набирая ход, — железу нагреться надо — ломанулась за Фёдором. Он вроде бы начал уходить, и разрыв был хорошим, но лишь страшней становилось далёкая лязгающая поступь, потому что точно знал, что догонит. Перед ней и деревья расступались. Просыпался медленно, сам себя вытаскивая — так же раздваиваясь, как при погружении в сон, и убеждая, что всё неправда, мол, не оглядывайся, и всплывай, всплывай. Но даже и такие кошмары не отваживали от нар и лишь укрепляли привязку, набивали дорогу, и она крепла, узжала, берясь пережитым, как стужей.

Фёдор вставал поздно. Пестря, заслышав завозившегося хозяина, нетерпеливо топотал лапами на убитой площадке перед избушкой. Пошевелится Федя — и Пестря затопает крепкими лапами. Замрёт и слушает — что хозяин? Обувается. Пошевелился — и снова дробь лап нетерпеливая. И топоток, и подскуливание. И то, что кобель полностью прав, работы ждёт — только раздражали. Пестря вообще раздражал своей

простодыростью, слепой верностью. Тупостью: сидит и лает соболя, а где хозяин, плевать — добредёт ли, нет. По сравнению с псом образ соболя был Фёдору ближе: неутомимый рыскун, без глупостей живёт, лишнего не делает, как собака не привередничает, морду не воротит, всё метёт: и рябину, и шиповник, и мыша, и белку, и на рыбу даже идёт, а летом и козявку замесит, тут к бабке не ходи. Так что ещё подумать надо, ха-ха, в чьей шкуре-то грамотней...

Так и жил не в радость. Мнительность появилась: в другую избушку пойдёт, и начинает казаться, что забыл воду вылить из ведра. Или что уголёк выпадет из поддувала печки и спалит зимовьё. Вороча́ется. Лопату в руки и снегом засыпает вокруг печки. На другой день пойдёт — и не помнит, присыпал или нет. И, конечно, кажется, не присыпал. «Опеть не ладно». Понятно, что можно без конца подозревать себя в забывчивости и дойти до сумасшествия.

Стал даже будто болеть, недомогать, и пуще стремился из тайги на нары, которые всё больше манили. Он их *належал*. Однажды сильно приболел в избушке деревенский хворый их мужик. Мужика родственники вывезли, а Фёдора попросили: поедешь мимо — забери радиостанцию. Заехал. Избушка маленькая и тесная, в половину нары. На стене ковёр с оленями. А на нарах — спальный мешок, фуфайка, тряпки, обёртки от таблеток, которыми завален и стол. Всё на нарах до такой степени спрессованно, налёжено, что напоминало звериное логово. Вот что-то подобное, только без обёрток, и у Фёдора належалось.

Фёдор ещё нашёл лёжку соболя — в листвени прикорневое дупло. Разрубил и увидел постель: гнилушки, травка, мышиные шкурки. И всё перепрелое и до такой степени потусторонне-звериное и тоже налёженное, что как в чужую тайну заглянул.

Вообще в тайге много тайн вылезало. В деревнях и особенно городах семейное, личное скрыто наглухо от глаз и ушей. Кто и чем живёт рядом, как звать кого? Одному Богу известно. А на охоте есть радиостанция, и огромная местность так говорит голосами, что у каждого в голове целая карта характеров с подложкой из рек и гор. На топоснове люди-голоса: каждый со своей манерой, повадкой, особенностью — словечками, откашливанием. Из каждого голоса, высокого ли, низкого, напористого или варёного, целый портрет многолетний. Кто-то, ни разу не виданный, с женой заговорил, и тайное, семейное, зазвучало на весь свет. «Слышь, мужики, вы помолчите маленько, щас Старикова Курья с домом разговаривать будет». Притихают, а сами на подслухе. Старикова Курья, басовитый мужик, который всегда на связи и общепризнанно «на под-вид диспетчера», всегда знает погоду и всё всем передаст. Если дело днём, и почти все мужики на

путиках, Курья всё равно ощущает зал и говорит с поправкой. В таких разговорах никакой лирики, и даже, наоборот, и показное бывает. Жена высоким, певучим голосом старается тёплое избяное пролить на всю округу, и голос, как рассада, тянется по стуже: «Слушай, а Алёнка сегодня как заплачет, папа, папа». А папа на ветру на вершине сопки и не хочет, чтоб слова эти простыли, и только отвечает басовито и всё-таки с улыбкой: «Ну понятно, понятно», мол, ладно, ладно, не выстужай избу, закрой двери-то.

Считается, что семья помогает в невзгодах, но Фёдора, когда *лежал* — неудачи только отделяли. В тайге его будоражило единственное: вокруг столько дармового, неучтённого, волшебно живого, что можно пустить в свою пользу, продать или обратить в закуску и раздарить нужным людям. И что он без свидетелей с этими драгоценностями, и в этом особая тайна, личная, прительная и ничуть не менее интересная, чем семейная. И свои счёты-расчёты, что можно превратить столько-то оленей, соболей или рыбин в снегоход или лодку. Или машину. И довершалось это умением не только добыть, а ещё и пристроить. Это и давало азарт, и становилось целью, и нарастало самолюбием, что поди руки-то из места растут, и добыть умеем, и договориться, и отношения выстроить с миром, пусть грешным, но нужным. И вообще мы мужики крепкие, у нас и дома всё крепко, так что перед людями не стыдно. И жена — тоже часть крепости, хозяйства, завода. Со своими, конечно, бабьими немощами-странностями, но тут уж «чо поделашь». Вон Шектамакан вроде лучший охотник, а бывает, так «евоная» выведет из себя, что фыркает потом неделю, что «никово баба не понимат».

Фёдору в голову не приходило, что Шектамакан только на людях харахорился, и целая жизнь шла у него в семействе. Что когда дома, то с женой ездит неразлучно и по сети, по черемшу, по ягоду, и не потому что считает жену куском завода, а потому что она значит не меньше, чем вся тайга вместе взятая. А если и порыкивал на неё из избушки, то вовсе по другим причинам. Чтоб не сбивала с колеи, с круга, с таким трудом выстроенного. Потому что если о жене будешь думать, то с ума сойдёшь и прощай, промысел. Поэтому проще подморозить чувство, на лабазок вытащить из зимовья и понадёжней прибрать, чтоб мыши не попортили. Правда, в нелёгкий миг не выдержит охотник, занесёт узелок, оттает — и такое навалится, хоть, правда, «домой бежи».

У Фёдора было как? Претило большие чувства вкладывать в семью, и всё домашне-тёплое, сонно-молочное, где он расслаблялся и терял хватку, казалось враждебным работе, чем-то стыдным, говорящим о слабости. Другие-то

мужики млели от тёпло-молочного и только на людях гонор разводили, а Фёдор всё принимал за чистую монету и за признак силы, которой само́му не хватало. И когда окунался в молочное тайное — стыдно было, и жену предавал, будто вечный Шектамакан или Перевальный стоял над ним, стоял и следил — настоящий он мужик или нет. А если вдруг жена напортачила в хозяйстве или по связи несуразность вывезла — то краснел от стыда: опозорила.

Анфиса спросила по связи совета, мол, не знаю, что с нетелью делать. Спросила неумело, стесняясь всех тех, кто слышит, и от этого хуже сбиваясь. И не к месту повторяя: «Как понял, приём». А Фёдор отрезал: «Ты давай, это, хозяйка, сама решай с нетелью». А она тогда про Деюшку что-то пролепетала, что он избушку и собачку нарисовал, а Фёдор закруглил, оборвал почти, мол, ну ладно, ладно, хватит тут нежности разводить. «Всё, до связи».

Им ребёночка только одного Бог дал, сына Дея Фёдоровича. Хороший мальчишка, маме помогает. Со школы придёт, с дровами поможет, по воду съездит на «буране», правда, ульёт крыльцо всё, да сам и расшибётся. И так изо дня в день. А дни у хозяйки на один похожи, событий-то нет, и вот уже ноябрь и радуйся — если б не постоянное чувство одиночества и забирающего хозяйственного круга, когда одна мысль: не поскользнуться, не вередиться, не заболеть, тем более на вертолёте грипп злючий привезли. Сначала ноги ломит, а потом температура сорок.

Середина ноября... В тайге у охотников целые эпохи сменились, и каждый день, как деревенский месяц по впечатлениям. Взлёты и спуски. Сопка на сопке. А тут равнина. И вот выйдет хозяйка поздним вечером на угор — черно́. Только огромный пятнистый провал до неба: Енисей шугует ледяными полями, грохочет раскатисто и отстранённо. Деревня за спиной, и кажется, ты одна на берегу океана. И даже есть ли дом — неизвестно. Может, привиделся? Может, обернёшься, а там ни огонька и одна тайга ледяная? И так жутко, одиноко станет, что хоть плачь. Только молитва и спасает.

Фёдор и в полусонных своих мытарствах по тайге плутал, а не домой возвращался, и считал, что незадача с соболями выставит его худым добытчиком. А что на любовь смелость нужна, тайно понимал, но за это ещё больше в себе улёживался. Недолюбленное так и копилось: и жена, и сын, и тайга зимняя серебряная уже в союзе состояли, как всё брошенное. И раз о любви-разлуке зашло: не все охотники ширь имели, как Шектамакан, но управлялись и жили, и любовь хоть какая, но тёплым шаром перекатывалась из семьи в тайгу и обратно без ущерба для близких и дальних.

А соболя всё не ловились. Однажды Фёдор пошёл на путик особенно поздно и вдобавок в ручей провалился — промыло полынью чуть дальше, чем он думал, и

припорошило снежком, а тот не успел позеленеть-пропитаться. В общем, подмочил лыжи: камус сложно очистить от ледяного чехла. Ножом стараешься скоблить. И надо, чтоб вода замёрзла — чтоб морозец. А то будешь у лыжи сидеть, ждать, пока льдом схватит. Фёдор и ноги подмочил, и вернулся в зимовьё. Переоделся. Лыжи, чтоб не повело, засунул в жомы, парные палочки, заткнул за специально прибитые брусочки. Включил рацию, и его позвал Ла́баз, брат Перевального, которого Перевальный посадил у границы участка «форпошшыком», ну и чтоб сети ставил. Перевальный — деятельный мужик, не старовер, но уважаемый всеми, независимо от конфессий — в голове трудового мужика соседи-работники по сортам распреднлены, и Перевальный у всех в первых. Лабаз был молодой и чудаковатый, к тому же не таёжник — работал в школьной кочегарке. Он никак не мог размочить счёт по соболю. Виноват, правда, сам, сначала тянул, взялся баню рубить, потом бросил... и начал настораживать с опозданием... И вот сегодня у него попал первый соболь.

— Ерачимо́! — кричал он, срываясь на фальцет. — Ерачимо Ла́базу! Ерачимо́!

«Чо кричать, — раздражённо подумал Фёдор, — видишь, не отвечают, и нечего орать». И ответил негромко и умудрённо-нехотя, будто занят был чем-то важным и особенным:

— Да, Лабаз.

— Ерачимо, слушай... — Лабаза прямо распирало, — слушай, хе-хе... такое дело... Мне твоя помощь нужна... Я тут соболя добыл! Да главное, котяра такой. Слушай, прямо не знай, хе-хе. Слушай, а это... в общем... я хрен его знат, как его обдирать! Помоги, слушай. Я честно чо-то это... Хе-хе.

«О-о-о, — подумал Гурьян, — час от часу не легче».

— Ерачимо-о-о! — проблеял Лабаз. — Ты где потерялся? Слушай, я не думал, что он такой здоровый бывает! Лапти такие! Может, это росомага, хе-хе?!

— Цвет какой? — неестественно равнодушно и с надеждой спросил Гурьян, надеясь, что скажет «семёрка, жёлтый», хоть не так обидно...

— Да слушай! Чо-о-рный! Чо-о-рный, веришь ли, как головешка! И ишшо седа́! Аж с искро́й! Вот ведь! И горло, слушай! Горло аж оранжевое, аж горит, знашь, как этот, как апельсин! А я ишшо ворчу. Думаю, не ловится и не ловится! Дак я согласен — пусть сначала не ловится, зато потом такого великана прикутать! Тем более я-то так тут у братухи... Для мебели... А и к доброму охотнику не ко всякому такой запорется! Экземпляр!

— Ну понятно. Мыши-то не постригли?

— Да нет, он в жердушке был! Ещё иду — смотрю, чо-то чёрное, аж вздрогнул! Ещё тащил в рюкзаке, лапа за ветки цепляется, думаю, не сломать бы!

«Какого же он размера?» — изъедал себя Гурьян.

— Ну ты мне помоги, ага? Прям говори, чо да как? А то я сижу как дурачок, неохота испортить такого... верзилу!

«Сам ты... верзила!» — подумал Федя и сказал:

— Лабаз, у тебя тряпка есть? И чулок?

— Какой чулок?

— Капроновый чулок. Женский. Или от колготков опорок.

— А чулок зачем?

— А обезжиривать чем будешь?

— Обожди, пошарюся на полке.

Пауза.

— Ерачимо! Нашёл! Степан тут всего назапасал. Братан у меня молодец, ничо не скажешь. А то уж я думаю, сейчас «буран» раздёргаю и в деревню, ха-ха... в клуб! Там какую-нибудь марамуху из колготок вытрясу, едри её за ногу, хе-хе... А колготки в карман и обратно...

В общем, заставил он Федю подробно, с уточнениями и переспрашиваниями, ободрать по рации соболя, да ещё при каждом действии в красках комментировал свой восторг по всем поводам: какая у него мездра, «сколь жира в пахах — аж гирлянды, хоть на ёлку вешай», и какие у него красивые лапы, подушки, хвост, спинка, уши и всё остальное. Чуть не усы: лучшие в крае. После обдирки соболя он так изнервничал, что решил «пружануть бражонки», причём с полной серьёзностью спросил Федю, «будет» ли он. И разочарованно-облегчённо сказал: «Ну а я пригублю».

— Ты соболя-то напяль хотя бы.

На что тот сказал:

— Обожди, мне напряжение надо снять.

«Ведь сейчас надрызгается, забудет и спарит соболя».

Эфир наполнялся гомоном, постепенно заглушая голос Лабаза, который уже кому-то другому втирал восторженно про «экземпляр», про такого «котяру, что загляденье!» и про его неимоверные стати, согласно которым он должен был давно превратиться в Золотого соболя из сказки. И про свои планы резкого расширения промысла. Он то замолкал, то вступал всё более восторженно и путано. Паузы увеличивались, а перед тем как окончательно заглохнуть, он прокричал, какой «басявый» у него денёк сегодня, что грех не отпраздновать, и что завтра встанет «в шесть, нет, в пять» и пойдёт «дупляночек подпилит».

«Сам ты дупляночка! Чтоб тебя в дупло засунуло. Экземпляр!» — только и подумал Федя, выключил лампу и в который раз взялся за «литературные страницы».

3. ЖЕРДУШКА

Проснулся он в темноте от двух голосов. Говорили очень громко и будто бы рядом или неподалёку. Голоса были высокие, как детские.

— Тихо ты! Проснулся, кажется.

— Да ты чо!

— Ну вот ворочается.

— Чо он сюда припёрся опять? Жили же спокойно.

Подул ветерок, и очень отчётливо скрипнула кедра́ о наклонную сухую ёлку. Фёдор пробно пошевелил передними лапами, вытянул их, чувствуя силу и необыкновенную, мягкую их натяжку. Не хрустнул ни суставчик. Потянулся, ощутив отдохнувшее тело, зуднувшее накопленными силами:

— Крупный кот. Ничего не скажешь, — подумал он так же уверенно, так же невозмутимо, как про соболей, не желающих ловиться. Мол, кого-кого, а его-то на мякине не проведёшь, он такой наторелый, что чуть не заранее всё видит. И такое предвидел. Сытое это чувство в нём необыкновенно усилилось и обострилось.

— Потянулся! — пискнули снаружи мыши, точнее полёвки (охотники зовут мышевидных скопом «мышом», без различия по толкам). Мыши сидели в соседнем кедровом дупле — почти половина кедрин понизу дупловатые.

— Ничо так утречко! — крэкнула кедровка. Федя теперь очень хорошо всё слышал, причём не столько громко, сколько обильно, остро и так, что каждый звук был как утренний месяц, — отдельным и тонко-врезанным.

— Ну чо нажидать? Лежи не лежи, а на путик-то надо.

И он аккуратно выбрался из дупла. Осязание, обоняние, слух, зрение, вкус — всё усилилось и заострилось, как лезвие. Добавилась какая-то новая острота участия и стремительность, единство решения и действия, помысла и движения. Позыв прыгнуть, повернуть голову приходил сразу по всему телу, а не как раньше. Сначала мысль: «А пойду-ка я спе́рва простучу лёд топориком», а потом уже решение: «А теперь ступлю. Ногой». Нет — теперь всё шло быстро и ладно. Но была и важная разница. Раньше Федя, о чём-то думая, хватал краем ещё десяток соображений, и было ощущение обзора запаса, хранящегося в голове. А теперь мысли-то оставались прежние, но в его небольшой остроморденькой головёнке помещалась единовременно всегда только одна мысль. Среднего калибра. Остальные были будто в запасе: не то в лапы залиты, не то в дупле лежали, не то рядом ли бежали. Непонятно.

Меняться они могли быстро, но не входили в спор, и была исключена возможность обсуждать с самим собой этот случившийся замес человечьего и звериного. Царящая мысль была в монолит слита со стремительным, красивым и здоровенным котярой, тёмным с сединой и со светящимся оранжевым горлом.

Выскочив из дупла и услышав, как ширкнули в корни мыши, он, мгновенно внедрясь в обстановку, трепещущую звуками и запахами,

побежал к своему путику. За ночь округу засыпало свежим снегом, будто в подтверждение, что новая книга открыта.

По дороге он попытался подбежать к рябчиной лунке, но рябчик ракетно вылетел, и тотчас с полянки оглушительно поднялся весь выводок и расселся по ёлкам. Запах он чувствовал, но рябчики исчезли. Они были как короткие мысли, которых не надо додумывать, — затаилась и ладно. У Феди и раньше случалось, подлетит соображение, и то одним боком повернётся, то другим, и думается: ты бы не вертелось, не путало. А оно пуще вертится, перья топырит, хохолок, и на него ещё всякие подлетают, спорят, морочат. Беспокойство одно. Лучше бы тихо сидели.

Федя выбежал на путик, протоптанный снегоходом. Прямоугольная канавка была плавно обведена свежим пухляком. Федя оказывался теперь в её низу и края канавы видел из-под низу. Снег был настолько пухлым, настолько свеже созданным и такого крупного помола, точнее поморозки — что состоял из синеватых игл, перекрещенных необыкновенно просторно и воздушно. Иглы были то мохнатые, то гранёные.

—Так... Крючок, крючок... — Федя подбежал к капкану, посмотрел по сторонам. — Надо сухой, хотя неизвестно ещё, как лучше... Таскать этот дрын по путику? Ещё и кедровки просмеют. А с другой стороны, каждый раз палку искать...

Запусканием капканов называется их рассторожка, захлапывание, как иные говорят. Фёдор-охотник запускал специальным железным крючком, похожим на плоский костыль. Костыль был вделан в расселину на черенке деревянной лопатки. Такая лопатка имеет длинный черен и используется как посох. Лопасть её изогнута, как ложка, чтоб удержать снег.

Теперь предстояло приспособить подобие. Федя нашёл сухонькую пепельно-серую еловую палочку, взял в зубы и, подойдя к капкану, стоящему в дуплянке, аккуратно тыкнул палочкой в тарелку. Капкан сработал так оглушительно и резко, что Федя подпрыгнул. Но потом спокойно, мордочкой к лесу, съел приваду — кусок рябчиной спинки. Потом пробежал к следующей дуплянке, подобрал еловую палочку, и снова запустил капкан, и съел отличную глухариную шейку с чёрным перышком. Пробежал дальше, обойдя кулёмку: безопасность прежде всего — только капканы на земле и в дуплянке, никаких кулёмок и жердушек: слишком сложны в запуске. Четвёртой ловушкой был капкан на земле в основании кедра. В загородке из жердей и с пихто́вой крышей. В глубине за капканом лежал объеденный до косточки кусок глухарятины в точках мышиного помёта. В корнях жили мыши. Федя

уже сбил первый голод и брезгливо пропустил ловушку. Зато в следующей дуплянке ждал кусок глухариной грудины с отличным пластом белого мяса.

Федя потрусил дальше, слыша переговоры синиц по поводу его занятия и пуская мимо: всех слушать — уши опухнут. А они нам пригодятся. Вдруг... на дорогу выбежал соболиный след. Федя, как вкопанный, замер. «А ты ещё кто такой?!» След был ночной, небольшой. Самочка. Он попрыгал по следу — изгибаясь по-соболиному — складываясь, как варежка. Раздражение и возмущение сменилось расположением: пах след чудно, очень милой и аккуратной показалась сама побежечка... Федя встрепенулся и напружинился — впереди раздавалось позвякивание капкана, живое биение, сухая поскрёбка коготков по дереву. Он побежал и увидел в жердушке, прибитой к рыжей зарубке на кедре́, соболюшку. С капканом на передней лапке она сидела на кончике жерди.

— Собо́ля, миленький, выпусти! Пожа-луй-стаааа! — залилась плачем соболюшка. — Придумай что-нибудь, пропадаю! — И Федя, настроившийся ревниво и поучительно, аж мордочкой дёрнул от досады: «Вот угораздило!»

— Да погоди, не верещи, тихо сиди, не хватало ещё Пестря учует. Тогда уж точно пропадешь, — заворчал Федя, не представляя, как разжать пружину, плоский ласточкин хвост. — И как тебя угораздило!? Не видишь — железо! Лапка ты...

«Хуже некуда. И жалко, смотри, какая приглядная. Ну как сделать-то? Как? Кедрина если б упала на пружину... Да куда там! Если б ещё на полу капкан был. А тут на весу. Упереть некуда».

— Ой пропаду, моя! Мороз даванёт и прощай! — не унималась Лапка. — Ты же такой большой, красивый, ну придумай что-нибу-у-у-удь! Пусть я тебе на поругу, но и в воле твоей!

И она, дёрнувшись, сорвалась с жердушки и, бренча цепочкой, забилась на весу, закручиваясь, складываясь и пытаясь сама по себе залезть.

— Да успокойся ты, вздо́хня! Сиди тихо, а то уйду. Тихо сиди! Не рыпайся.

— Всё-всё-всё, моя. Сижу. Сижу. Только не убегай.

— Вот и сиди. И так полтайги взбаламутила.

Неподалёку стояла пихтовая сушина, квадратно по волокнам издырявленная. На ней сидели два трёхпалых дятла. И видно на суматоху, шёлково-шумно подлетел и подлип к пихте́ Желна. Здоровенный чёрный дятел с красной головой.

«Доверещалась. И без твоего цокота тошно. Чо делать, ума не приложу. Совсем уж глупость... А и глупость придумаешь, когда выхода нет. Какого-нибудь волка выцепить, чтоб капкан зубами разжал... Да н-но. Тот в жизни не притронется к железу! Чо смеяться? И

вообще тип мутный. Связываться с такими…»

— Ну, что? Что? Ты придумал? Может, волка? — пискнула Лапка.

— Да какого волка?! — раздражённо прицыкнул Федя. — Я вот думаю, — он задумчиво оглядывал тайгу, — я вот думаю… вот если вот оленя… Они и ребята нормальные, ну и найти проще, где-нибудь на тундре шарятся. А главное, тут хоть понятно, как действовать.

— Но, — сказал Первый трёхпалый дятел, — так-то… можно попробовать.

Все три дятла уже подлетели поближе и сели на обломыш ещё одной сушины. Феде даже показалось, будто они воткнули свои клювы в деревину, как ломы или лопаты, и те остались словно насадки какие-то. А сами, чуть не облокотясь на них, судачат:

— Да ково пробовать? Где олень однёрку одавит!? — фыркнул Второй Трёхпал. — Чо собирать-то?

Лапка попала в капкан первого номера. Вкруг этого зашёл и спор.

— Смотря какой олень, — парировал Первый Трёхпал, понимая, что прокосячился.

— Да хоть какой — бесполезно.

— Ну коне-е-ечно, — передразнил Первый, поёживаясь, и забил, как клювом, — спокойно одавит однёрку.

— Да в жись не одавит. — Второй даже хрюкнул и весело оглядел присутствующих, качая головой, мол, видали упёртого.

— Ну двух тогда ставь! — гневно крикнул Первый. — От промблема-то, едрим-ть.

— Да ково двух? Будут задами толкаться. Ещё и соболя стопчут.

Тут Желна очень веско и медленно откашлялся и с паузами отмерил:

— Олень никогда не одавит однёрку. Нолёвку куда не шло. Ещё какая пружина. А однёрку… ни в жись, — и презрительно замолк.

— Да я чо и говорю, — сказал Второй Трёхпал, — нолёвку да, согласен. А всё, что больше, — только сохатый.

— Мужики, — снова вступил Желна, будто не слыша и не признавая, что про лося застолбил Второй Трёхпал, — не пойму я вас, чо вы хреновиной занимаетесь. Сюда надо сохатого, бычару сытóго. Тот одавит. А так бесполезно. Ладно, я полетел.

— Да погоди, полетел, — возмутился Федя. — Там вот край тундры след был вроде свежий. Слетай глянь — может, там он.

— А мне это надо? — презрительно сказал Желна. — Сопли с вами морозить.

— Слышь ты, долбень, — вышел из себя Федя, — ты языком своим липучим можешь хоть сколь молотить, а я те дело говорю: будь другом, слетай. А я тебе помогу, глядишь.

— Да чем ты мне таким поможешь? — кобенясь, затянул Желна.

— Ой, невозможно, мужики! — закричала Соболюшка. — С вами точно заколеешь, пока договоритесь! Ой, пропадаю! Спасите-помогите-замерзанье!

— Она дело говорит. Совесть-то поимейте. Я тебе расска... — он снова обратился к Желне, но Второй не выдержал:

— Да давай я сгоняю. Этот вечно...,— кивнул на Желну, — только языком...

— Мурашей стращать, — поддакнул Первый.

— Сгоняй, а я тебя научу, как, например, в ловушки не попадать. А то я знаю, вашего брата сильно много в кулёмках гибнет.

— Да лан, разберёмся, — крикнул Второй и улетел.

Минут через десять он вернулся и сказал, что в осиннике стоит сохатый, «здоровенный бычара, рога, как лопаты, ещё и фырчит».

— Сиди, — сказал Федя Лапке. — Щас всё сделаем. Главное, не дрыгайся — лапу загубишь. — И побежал, слыша удаляющийся разговор:

— Олень никогда не возьмёт «однёрку»...

— Да ба-рось ты. От у нас в запрошлом году...

Желна никуда и не двинулся.

А Федя увидел картину. Здоровенный сохатый стоял и, несмотря на мороз, лызгал упавшую осину. Аккуратные свежие бороздки украшали оливковый бок. Рога Сохатого были великолепны, в пупырышках, жёлтые в лопате и буро опалённые с боков на отростках.

— День добрый, хозяин! — солидно сказал Фёдор совсем из-под низу.

— Смотри, как обрабатываю, — не поворачивая головы ответил Сохатый откуда-то сверху. Потом отошёл и посмотрел на расстоянии. Тёмно-коричневый, он весь колыхался, ходя ходуном, поднимая длиннющие белые ноги, словно они были на верёвках — штанги какие-то, враз и не переставишь.

— Нормально. Слушай, помоги тут, а я тебе расскажу, где соль взять.

— Я все-гда го-во-рю, ххэ, — очень неторопливо и веско говорил Лосяра с придыханием. — Что всё дело в инструменте, ххэ. Если путный инструмент, — и он снова полоснул кору, — то что мороз, что не мороз. Один леший.

«С таким мастером она точно загнётся», — подумал Федя.

— Помоги, а? Здесь рядом. И делов на пять минут. А я тебя научу, как под пулю не попасть. Капитально научу.

— И как? — сказал Сохатый с воспитывающей интонацией. С придыханием, с рабочим кряхтением он перебрёл через ствол, не спуская с него глаз: — Под пулю не попасть?

— Да расскажу всё. Слово. Только сначала надо освободить соболюшку одну.

— Откуда освободить?

— Из капкана.

— О-о-о-о! — затянул вдруг Сохатый неожиданно категорично и зачастил очень нудно: — Не-не-не! Не-не-не! Даже-даже...

— Да чо ты испугался?

— Да к чему мне неприятности эти!? Капканы чужие, тем более... Не-не. — И он отвернулся, помолчал и, продолжая сопеть, сказал прежним тоном: — Ты давай-ка

стрельни оттудова... Ровно ли бороздка легла?

— Да мои капканы! — выпалил Федя. — Мои! Погнали!

— Той-той-той... — вдруг с невыносимой уже основательностью остановил Федю Сохатый. — Какие такие твои? — допросно попёр, не отрываясь от осинового бока: — Ты кто такой?

— Я Фёдор... «И зачем я ему рассказываю!» — в отчаянии думал Федя. Но чутьё говорило, что тянуть нельзя.

— Той-той. Той... — замер Сохатый, вперясь в осину.

— От те и «той». Хоть голодный, хоть сытой. Я — Фёдор. Да! Я превратился в соболя, — выпалил он, краем глаза и ушами исследуя, слышит ли кто его слова. Наверняка какая-нибудь кедровка притихла и замирает от восторга и предвкушения...

— Той-той-той, — ещё раз обойдя осину и ещё внимательнее вперясь ей в бок, сказал Сохатый. — Смэ как ровненько. Лыска должна быть ровно восемь милли́метров. Тогда такую осину хоть куда... Ну-ка стрельни. Давай-ка отскачи туда... Я вообще люблю, когда всё по путю.

— Да какие ми́ллиметры, там Чёрная Лапка гибнет! — крикнул Федя («Отскачи ещё!»). И добавил отчётливо: — Ты можешь туда подойти и на эту пружину наступить? Я с тобой рассчитаюсь.

— Той-той-той... Значит, как под пулю не попасть. Да? — совсем замедлил речь Лосяра. — А мне на кой, если Хвёдора-то нет теперь! Ну? Мне чо его пули-то? — И вдруг посмотрел на соболя и зычнейше фыркнул: — А!? — да так, что Федя подскочил. Лось был огромен и нависал, как буровая, на бесконечных своих ногах.

— Я тебе расскажу, как мой брат Гурьян ходит, как его собака работает, и где стоять лучше — куда он вообще не ходит. Вообще! И про Перевального. И скажу даже, когда он весной на участок ездит.

— Той-той-той. Давай так. Превратился в соболя, да? А он где тогда? Соболь? Где он есть? А? — снова рявкнул Сохатый. — Соболь был? Был. А теперь ты́ вместо него. Ты его что — из шкуры выжил? Х-хе... Я чо — не понимаю? Значит, он где-то бегать должен? Без шубы. Так? Или, может, его спецом под тебя сде́лали? Соболя? — и успокоенно подытожил, пристально пялясь в новую риску. — ...Вот это меня волнует. Я люблю, чтоб всё досконально было. Смотри, какой бок!

— Да леший его разберёт! С шубой, без шубы! — кричал уже Федя. — Давай потом. Давай ты освободишь Чёрную Лапку. А там поговорим.

— Да не вопрос, — сказал Лось, и Федя с облегчением вздохнул, а Лось добавил:

— Только сейчас мне с осиной разобраться надо. Давай после обеда. Завтра.

— Какой после обеда!!! Она погибнет же!

— Той-той-той, — снова затянул Лосяра отсутствующе и совсем приблизившись к осине.

— Кстати, у тебя рога отличные, — уже от безысходности бросил закидушку Федя.

Лось самодовольно хмыкнул. Мол, ясно-понятно. А Федя спросил честнейше:

— А ты пробовал ими жердушки отрывать?

— Жердушки? — вдруг неожиданно быстро сказал Сохатый и впервые взглянул на Федю.

— Жердушки. Там же капкан на жердушке, его же на пол надо спустить.

Лосяра застыл.

— Надо попробовать, ты же не пробовал. Там, кстати, осины вкусней.

Вдруг Сохатый очень медленно зашевелился и, постепенно наращивая скорость шевеления и перестановки своих ходулин, побрёл в сторону Лапки.

Когда пришли, Лапка сидела комочком, онемев от отчаяния. Первый Трёхпал подлетел к Феде и сказал:

— Мы тут скумекали: ведь ещё и жердушку отдирать надо.

«Вот дятел и есть дятел», — подумал Федя.

— Давай, работаем! Лося, смотри Лапку не прищеми. А то знаем тебя... Щас, Лап.

А про себя подумал: «Орясина осиновая».

Дятлы снова подлетели.

— Интересно, возьмёт с первого раза? — вякнул Первый.

— Бесполезно, — сказал Желна. — А если и возьмёт, то гвоздь останется...

— А те чо гвоздь? — бросил Второй.

Сохатый замедленно перетёк к жердушке, некоторое время подлаживался рогом, искал угол, упор, и потом как-то неожиданно и быстро рванул так, что она мгновенно отлетела, только гвоздь скрипнул отрывисто и заскорузло-морозно.

— О, нормально! — обрадовался Лось и мотнул головой: — Ещё скрипит ково-то!

— Ну всё! Вставай сюда! — крикнул Федя, но Лось уже говорил:

— Теперь крышу, обожди.

Над жердушкой была прибита на тонкий гвоздь рогулька. На ней лежала берестина, завившаяся и обхватившая с двух сторон отростки рогульки. Крыша защищала капкан от снега.

— Да какую крышу? — вскричал Федя.

— Не-е-е, — говорил мечтательно Лось, — хороший инструмент — это полдела. — мастерство, конечно, тоже... Ну. Какая рогулька крепче? — отрывисто сказал Лось (намекая на свои рога) и, оглядев присутствующих, сломал пополам рогульку. Одна половинка, одинарная, осталась на гвозде.

Дятлы прыснули со смеху. Лось стал её отковыривать. Соболюшка сидела комочком, засыпая и клонясь набок. Лось отколупал остаток рогульки и сказал:

— Не, ребят, не знаю, как вы без рог живёте... — и вдруг бодро спросил: —Следующая далёко? — и сделал движение по путику.

— Той-той-той! — закричал Федя. — Какая следующая?! Сюда иди!

Еле уговорили, можно сказать, подвели, установили, будто это была сложнейшая конструкция, буровая какая-то…

— Так, а ты тут откуда? — вдруг заметил он Лапку. — Не знал, что они в сборе идут…

— Дэвэй, дэвэй! — раздражённо частил Федя. — Вставай сюда!

Лось наконец встал, куда надо, но его морда оказалась напротив небольшой рябинки, и он принялся её заламывать зубами:

— Конечно, не осина, но смотри, как надо….

— Убийство! Можешь сюда наступить?

— А?

Требовалось стать задним правым копытом на пружину. Сохатый вроде и понимал, но то соскальзывал копытом с пружины, то наступал на неё не по центру и с такой нелепой силой, что капкан выворачивался, падал на бок, и бедную соболюшку буквально как плеть бросало о снег, и она вскрикивала.

— Ты его подстучи сзади по ноге. У копыта.. — крикнул Федя Второму Дятлу. — Там щи́котное место. Осторожно. Смотри, дёрнет — убьёт её. Так. Давай! Ещё. Ещё!

— Ты не забудь соли пару мешков, — вдруг вывез Лосяра.

— Будет соль! Всё будет! Дятя, смотри, чтоб он Лапку не стоптал! Теперь подними ногу! Да не эту!!! Наказанье! Да! Ставь! Да. Так, сначала нашарь, нащупай! Да не дави! Нащупай! (Тюкни его!). Во! Всё, — крикнул Федя, — дома! Теперь весом! Весом! Есть — на морде шерсть!

Лапку Федя отправил в своё гнездо, туда же унёс запас привады. Лапка ничего не говорила, только прижималась головой к его плечу и плакала.

— Живи у меня, корм есть, — сказал Федя.

— Нет, нет! — твердила Соболюшка. — На что я тебе такая! Вот лапку залечу — вернусь! У меня лёжка у Нюрингде.

На следующий день Лапка убежала, и как-то сразу отдалилось, ушло поле обаяния. Всё-таки гон у соболя позже, да и поважней дела были. Лапка ушла, но тоска и беспокойство остались, хотя не мыслями, а ощущением проникали в головёнку, в которой всегда одна мысль лежала. Давила, как каменная плита. Видимо, звериное настолько усилилось, что человечье под гнётом засочилось, зашевелилось, как бывает, когда совсем выживают, а места в обрез и за каждый кубик бой. И вопрос: или совсем уйти, или отстоять пространство. Трудное дело.